



Леонид Бежин

АНТОН ЧЕХОВ.
Хождение
на каторжный
остров

УДК 94.4
ББК 63.3
Б41

Бежин Л. Е.
Б41 Антон Чехов: Хождение на каторжный остров. — М.: Этерна, 2013. — 272 с.

ISBN 978-5-480-00311-6

У каждого русского писателя своя тайна, иногда мистическая, запредельная, иногда — бытийственная, экзистенциальная. Есть своя тайна и у Чехова. В тридцать лет — на Сахалин, каторжный остров, в распутицу, по бездорожью, иногда по пояс в воде, с риском погибнуть, утонуть в сибирских реках, никогда не вернуться. Почему? Можно дать сто ответов на этот вопрос, и ни один из них не будет окончательным. Поэтому писатель Леонид Бежин ищет свой — сто первый — ответ. Ему удалось проехать на Сахалин по следам Чехова, увидеть все то, что видел он, соприкоснуться, приобщиться. Это, наверное, и позволило ему приблизиться, насколько это возможно, к вечно ускользающему — сто первому — ответу.

УДК 27.4
ББК 86

ISBN 978-5-480-00311-6

© Л.Е. Бежин, 2013
© ООО «Издательство «Этерна»,
оформление, 2013

«Последнее время часто мечтал вслух:
— Стать бы бродягой, странником,
ходить по святым местам, поселиться в
монастыре среди леса, у озера, сидеть
летним вечером на лавочке возле мона-
стырских ворот...»

И.А. Бунин. О Чехове

«Нужно верить в Бога, а если веры
нет, то не занимать ее места шумихой,
а искать, искать, искать одиноко, один на
один со своею совестью...»

А.П. Чехов, из письма В.С. Мирялобову

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ КАК ТАЙНА И ПАРАДОКС

В жизни каждого русского писателя (об английских, немецких, французских судить не берусь) — было... Было даже в том случае, если писатель не первого ряда, не классик, не Гоголь — гоголек, как говаривал поэт, пересказывая слухи о смерти Андрея Белого:

Вы слышали, какой-то Гоголь умер?

Не Гоголь — так себе писатель, гоголек.

По отношению к самому Андрею Белому, создавшему «Петербург», один из величайших романов двадцатого века, такое уничижительное прозвище вряд ли справедливо (слухи есть слухи), а вот о множестве его безымянных подражателей мы вправе сказать: гогольки, истинные гогольки. И по гонору, и по самомнению, и по амбициям, и даже по тому, как они небрежно сбрасывают пальто на руки услужливому

гардеробщику писательского клуба и демонстративно забывают взять номерок, зная, что и без номерка оно не пропадет, не затеряется, а будет подано с подчеркнутым почтением и предупредительностью: «Извольте-с».

В жизни Белого было всякое — и заумные лекции, и модные фокстроты, и антропософия, и дружба с Рудольфом Штайнером, и строительство Гетенаума, и нас это, пожалуй, не удивляет, не кажется странным: все-таки личность, фигура, признанное имя. Но удивительно и странно то, что и у его безымянных подражателей — если покопаться в их биографиях, присмотреться к ним пристально, с изучающим вниманием, — тоже было. Причем такое, что подчас диву даешься и думаешь, испытывая невольное уважение к тому, кто недавно казался шантрапой, мелюзгой за-трапезной и не воспринимался всерьез: какой-никакой, а все ж писатель...

Не случайно Иван Бездомный у Булгакова, один из многих завсегдатаев Грибоедова, повстречавшись на Патриарших прудах с Воландом, а в сумасшедшем доме — с Мастером, пережив смерть Берлиоза, зарезанного трамваем, испытывает такое потрясение, что бросает писать стихи и становится историком.

Но даже если наш писатель по натуре своей не из тех, с кем бывает... Если он провел жизнь в тиши обитого дубом кабинета, за письменным столом с врезом зеленого сукна, бронзовой чернильницей и малахитовой лампой, окруженный любящими близкими, заботливыми женами (как правило, их несколько — прежние, но не забытые и нынешняя), преданными учениками и друзьями.

Даже если и так — было и с ним. И тому есть немало парадоксальных и при этом убедительных примеров.

И — по некоей извечной исконно русской закономерности — чем парадоксальнее, тем оно выходит даже на редкость вразумительно, доходчиво и в конечном итоге столь убедительно...

Вот один из таких примеров: писатель из числа тех, с кем, казалось бы, не бывает и быть не может.

Благоразумного вида, похожий на счетовода, гладко причесанный, круглые очки на носу, в быту неукоснительный педант. Выдавая жене деньги на покупки, мягко, но настойчиво требует от нее бережливости, внушительно выговаривает за мнимую расточительность, склонность бездумно сорить деньгами — так что она, бедная (какое там сорить!), боится лишнюю копейку потратить. Совестится, по десять раз пересчитывает, прикидывает. Достает и снова прячет под салфетку на буфете (нет, ненадежно), под вазочку, под часы, лишь бы опять не провиниться, не рассердить его, не заслужить новый упрек...

Столь же требователен он к порядку: каждая вещь должна стоять на своем месте. И ни пылинки, ни паутины — особенно на письменном столе. Письменный стол и каждая вещица, каждая безделушка на нем, чернильница, стопка бумаги для него — святыня, жертвенник, алтарь. Поэтому пыль и беспорядок ему физически неприятны, вызывают в нем беспокойство, маету, тревогу. Может быть, даже нечто вроде идиосинкразии. Извольте с этим считаться и не испытывать его терпение. Человек он мягкий, деликатный и покладистый, а если бывает строг, то лишь по необходимости, потому что жизнь научила.

Однажды он... гм... сфотографировался в пижаме.

Да, полосатой пижаме по моде пятидесятых годов — этакий дачник, любитель спелого, вызревшего до золотистой желтизны крыжовника, черной сморо-

дины и малины, заядлый грибник (сыроежки не берет — только белые и подберезовики) и собиратель шишек для самовара. Любит окрошку с деревенским квасом и сметаной. Качается в гамаке после обеда, слегка отталкиваясь ногами и заслоняясь от солнца раскрытой книгой. Случается, что и вздремнет, сладко посапывая, иногда всхрапывая.

Вечерами пьет чай на балконе, накладывая в блюдечко вишневое варенье и отодвигая к краешку случайно попавшую косточку.

Дачник, да и только...

И не скажешь, что было с ним когда-то такое, от чего становится не по себе, жуть берет, дыхание перехватывает и по ночам кошмары снятся: колючая проволока, сторожевые вышки, бараки с нарами для заключенных, обыски, построения, переключки и зычный голос старшины: «Я тебе покажу! Будешь у меня стихи писать!»

Словом, испытал, хлебнул лиха, износил до дыр свои железные сапоги...

А другой, живший чуть раньше — честный, правдивый, принципиальный, снискавший восторженную любовь молодежи за бичевание пороков власти, несправедливости, призывы служить народу, — бросился вниз головой в пролет лестницы. Вскрикнули, подбежали, а он распластался на полу. Бездыханный, с запрокинутой головой, помутневшим взором и кривой улыбкой на губах...

«А лестница ужасная. Я ее видел: темная, грязная...» (Чехов, из письма).

Третий, брат известного писателя-народника, сам писатель сходного направления, тоже покончил с собой — «зарезался», как о нем говорили. А до этого нищенствовал, бродяжничал, балагурил, куролесил, водил с собой маленькую дочь, наряженную в мужской

костюм, играл на гармонике и напевал «самым развеселым образом»:

Любила я тульских,
Любила «калуцких», —
Елецкого полюбила —
Сама себя загубила...

Кабатчик о нем рассказывал:

— Известно — бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищесбродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. «Дай, пожалуйста, чайку стаканчик». — «Нету, говорю, весь уж выпили». — «Ну, хоть стаканчик!»

«Да нету же. — Зло меня даже взяло. — Не заваривать же для тебя».

«Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради бога — душа пересохла».

«Это, говорю, дело другое. Авось не жалко. Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, — глотает, обжигается. Потом говорит: «Дай водочки». — «Да у меня не кабак». — «Да ведь знаю, говорит, торгуешь». — «Ну, а знаешь — деньги давай». — «Денег нету». — «Ну, и водки нету». — «Так возьми, говорит, что-нибудь». — «А что у тебя?» — «Возьми штаны». Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясья одни остались. На кой они мне черт. «Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю». Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил (записано Буниным).

Четвертый, осужденный как заговорщик, с завязанными глазами ждал казни на эшафоте. Ждал *расстреляния*, как было сказано в зачитанном приговоре. И вдруг — сквозь морок и туман предсмертного забытья — услышал о помиловании. Сразу-то, навер-

ное, и не поверил: не ошибка ли, не оговорка? Замер, притих, испугался, а потом возликовал, обрадовался и даже прослезился.

Вместо исчезновения всего, провала в бездну — жизнь!

Казнь заменили каторгой с последующей службой рядовым. Все выдержал, выстоял, преодолел, превозмог — и кандалы, и арестантскую баланду. Вернувшись в Петербург, снова стал писать с лихорадочным, неиссякаемым вдохновением и создал книги, прославившие его на весь мир.

Пятый, уже упомянутый нами автор стихов на смерть Белого, сочинил неслыханно (по тем временам) дерзкую эпиграмму. Понятно на кого. И вместо того чтобы спрятать в стол, похоронить под бумагами или сжечь, стал ее всем нарочно, даже с некоей назойливостью зачитывать. От него шарахались, но он не унимался. Из-за чего? Из-за подспудной жажды страдания. Может быть, даже еврейского страдания, которого он, русский поэт, в силу жизненных обстоятельств до поры до времени избегал, а теперь решил принять.

В конце концов был арестован, отправлен в лагерь, где читал у костра Петрарку уголовникам (во всяком случае, таково предание), и погиб, сгинул, бесследно исчез.

А ведь думал жизнь просвистать щеглом.

Словом, было...

И если прав Максимилиан Волошин, написавший: «Темен жребий русского поэта», то эта непроницаемая тьма застигает многие и многие биографии, и Пушкина, и Лермонтова, и Тютчева, и Блока, и Маяковского, и Есенина.

И пожалуй, не надо сразу уточнять и конкретизировать (хоть я отчасти и поддался этому со-

блазну), что именно было, где, когда и как, по каким причинам и к каким результатам привело. Лучше в самой неопределенности этой фразы постараться распознать те оттенки смысла, которые сразу исчезнут — улетучатся без следа, — стоит ее исправить, неосторожно отредактировать, что-то к ней для ясности добавить.

«Гоголь обратился в христианство, потому что чувствовал неудовлетворение жизнью тогдашней николаевской России, отчетливо видел ее темные стороны, испытывал жажду положительного идеала, стремился к правде человеческих отношений и нигде не мог обрести ее». Редактору такая фраза, возможно, и понравится, он одобрительно закивает, поставит на полях рукописи птичку, галочку или даже восклицательный знак, но автор, томимый неудовлетворенностью, раздосадованный, обиженный на всех и самого себя, в конце концов ее мстительно вычеркнет.

Нет, Гоголь обратился.

«Толстой ушел из Ясной Поляны, оттого что для него стала невыносимой докучная слава литературной знаменитости, получаемые гонорары, жизнь в родовом дворянской усадьбе со слугами и дворовыми, сложившаяся там обстановка вечной слежки за ним, чтение его дневников и писем». И эту так же вычеркнет.

Нет, Толстой ушел.

«Чехов уехал на Сахалин для того, чтобы воочию увидеть жизнь заключенных, их муки и страдания, привлечь внимание передового общества к каторжному острову, заставить задуматься о его судьбе, пробудить в людях сочувствие и жалость».

Нет, Чехов уехал.

Глава вторая

ПО КАМУШКАМ, ПО ДОСТОЧКАМ

... Почему же все-таки он поехал? Ведь не надо быть слишком мнительным и суеверным, чтобы допустить до смешного простую («насмешливое мое счастье») и убийственно ясную мысль о том, что он может и не вернуться. Такая вот трогательная мелодрама, такой до чертиков забавный водевиль. Мо-жет. Мо-жет (постукивание карандашом по столу). Не услышать больше, как по мокрой от дождя Садовой с шумом, смехом, веселыми возгласами валит праздничная, разодетая толпа. Как грохочут нагруженные доверху подводы ломовиков с выглядывающими из-под рогожи полосатыми спинками диванов и выгнутыми ножками кресел, гремит по рельсам конка и мягко шуршат шины рессорных экипажей.

А с Патриарших прудов в это время доносятся крики расшалившихся детей, которых напрасно пытаются уговорить их няни и гувернантки, одни по-русски, другие — по-французски. Третьи, может быть, и по-английски, но таких меньше, каждая из них — редкость, диковинка, истинная дочь Альбиона.

Звонят к обедне в церкви Вознесения у Никитских ворот, где венчались смуглый, курчавый, маленького роста правнук Ганнибала и статная, высокая Наталья Гончарова, поселившиеся затем здесь же, рядом, на Арбате. Воркуют на церковных карнизах голуби и гнусавят нищие, протягивая свои обмотанные тряпьем культяпки, выпрашивая милостыню: «Подайтехристар-а-а-ди!»

Кто-нибудь да подаст, копеечку в кружку бросит: москвичи народ сердобольный.

Может не увидеть (водевиль продолжается) родных, домочадцев, друзей, знакомых, завсегдаев их гостеприимного дома. И среди них — вечно слоняющихся по дому (каждая непременно поднимет крышку пианино и потренькает на клавишах) подруг своей любимой, столь преданной ему Ма-Па, сестры Марии Павловны. Не сомлеть от восторга, лицезря зачавшшую к ним последнее время Лику Мизинову, не осыпать ее комплиментами, «адски красивую» (хотя и немного полноватую), взбалмошную и непредсказуемую, со всплесками самых разных, противоречивых настроений — от томной мечтательности, меланхолии, беспросветной хандры до наигранной веселости и напускной жизнерадостности.

Иногда же Мадемуазель Жамэ (так зовет ее Чехов) бывает откровенно бестактна и даже груба, наслаждаясь своей распушенностью, явно кому-то подражая (да не кому-то, а Кувшинниковой, любовнице Левитана, хозяйке модного салона), считая, что это сближает, что так принято, что ей это чертовски идет. Вот Чехову и приходится снисходительно переносить, терпеть и прощать. Прощать и только при этом слегка осаживать, ставить на место, стараться угомонить, словно терпеливая няня непослушного, вздорного и капризного ребенка.

По-русски, по-русски — не по-армянски же, хотя не отказывает себе в удовольствии величать ее на армянский манер Тер-Мизиновой.

Мадемуазель Жамэ, она же Лидия Стахивевна, барышня со столь редким отчеством.

Что ж, перекрестит его на дороге, коснется губами лба, всплакнет, пригорюнится (разнюнится), батистовым платочком вытрет слезы. После слов ласки и

любви прошипит что-нибудь нарочито злое, непременно ужалит, оттолкнет от себя, упершись крепко сжатыми маленькими кулачками с побелевшими косточками ему в грудь. Затем попросит с прерывистым вздохом, чтобы не забывал, не увлекался там молодыми сибирячками и не мучил долгим отсутствием, пожалел и ее и себя.

Он пообещает, даже поклянется, прогудит густым баритоном в столь свойственном ему шутиливом тоне: мол, будет рваться к ней, словно на крыльях. Но что клятвы, тем более такие шутиливые, с искорками в глазах!

Клятвы еще никого не спасали.

Вот и он, Чехов, может перевернуться в коляске на крутом повороте, переломать ребра, разбиться о камни. Может утонуть при переправе через бурные сибирские реки, умереть от воспаления легких, простудившись на ледяном, пронизывающем ветру, или другой болезни, подстерегающей незадачливого путника, рискнувшего отправиться в такую гибельную, страшную даль, куда по своей воле никто не ездит. Только если гонят по этапу, закованного в кандалы...

И все-таки он отправился — за тысячи верст, на край света, откуда до Японии, Гонконга, Сингапура во много раз ближе, чем до Москвы. На остров каторжников, ссыльных и переселенцев — как частное лицо, «отдельный человек», даже без рекомендательных писем, хоть и с корреспондентским билетом «Нового времени», собственно, не дававшим ему никаких особых прав и полномочий.

К тому же с 1884 года он страдает кровохарканьем, длящимся иногда по несколько дней.

Безумие, да и только!

Поехал в этом, подаренном ему хорошими знакомыми, длинном кожаном пальто, которому в письмах

слагал хвалебные оды («Дивное пальто. Оно спасло меня от простуды»). С зашитыми под подкладку ассигнациями, с дорожным сундучком, где была спрятана икона и завернут в тряпочку револьвер, приготовленный на тот случай, если по дороге нападут разбойники.

Слава богу, не напали — обошлось.

В этом смысле езда по Сибирскому тракту — вопреки всем его собственным опасениям, охам и ахам матушки и сестры — оказалась безопасной.

Но если бы?

Неужели смог бы взвести курок, выверенным движением поднять руку до уровня глаз, хладнокровно прицелиться, выстрелить раз, другой, третий? И когда рассеется синеватый дымок, с удовлетворением убедиться, что попал, не промахнулся, что тот, в кого целился, вздрогнул, замер, словно испуганный чем-то, стал беспомощно и жалко оседать, а затем рухнул лицом в мерзлую землю?

Он-то, доктор Чехов, Антон Павлович?!

«Собрату по оружию (не огнестрельному — примечание для его начальства)» — так надписал он книгу, подаренную знакомому литератору Лазареву-Грузинскому, оставившему о нем воспоминания. Надписывая, счел нужным оговориться, что хоть тот ему и собрат, но вот оружие им досталось мирное, не огнестрельное, без курка, мушки и крутящегося барабана с патронами.

Огнестрельным же особо не владел и стрелком азартным не был. Баловался лишь подчас ружьем на охоте, да и то, когда однажды близкий приятель Исаак Левитан ранил вальдшнепа и, закрыв лицо руками, стал просить, слезно умолять его добить (тоже капризный ребенок), Чехов ужасно мучился из-за этого и страдал. И охота ему сразу стала не мила, наскучила, опротивела.

Поэтому скорее пальнул бы не в напавшего разбойника, а в воздух, а затем настойчиво уверял бы всех, сбжавшихся на выстрел, что это так... пустяки... лопнула склянка с эфиром. Или неловко размахнулся и запустил бы этим револьвером в нападавшего, как Николай Ростов во француза.

А если все же и выстрелил бы, то затем сам бы себя проклял, разорвал собственную рубаху на бинты, вытряхнул из сундучка лекарства, позаботился о том, чтобы тщательно промыть, по всем правилам продезинфицировать и потуже перевязать рану.

В том-то и дело, что и грозный револьвер, и трогательно зашитые под подкладку деньги выдают человека, больше привыкшего к дому, чем к дороге. Истинный домосед так и готовится к отъезду: до тошно, кропотливо, осмотрительно, с оттенком боязни, потому что дорога для него иное состояние. Как лед для того, кто впервые — пошатываясь, спотыкаясь — встал на коньки. Как река для человека, не умеющего плавать, и вот он по камушкам, по досточкам, по торчащим из воды островкам... лишь бы не терять спасительного равновесия, соприкосновения с твердой поверхностью, устойчивой опоры под ногами.

Глава третья

ЧУЖАЯ ВЕСНА

Из писем видно, как постепенно овладевало Чеховым это преддорожное настроение, — осо-

бенно по письмам Суворину, во многом напоминающим дневник.

«Бывают настроения чертовские, когда хочется говорить и писать, а кроме Вас я ни с кем не переписываюсь и ни с кем долго не разговариваю. Это не значит, что Вы лучше всех моих знакомых, а значит, что я к Вам привык и что только с Вами я чувствую себя свободно», — признается он позднее, в 93-м, но то же самое мог бы сказать и в 90-м, собираясь на Сахалин. Слишком хорошо они с Сувориним друг друга знают, свыклись, попритерлись, ведь знакомы уже давно, много лет, что называется, дружат семьями, кланяются, передают приветы домочадцам. И Суворин при случае не прочь составить протекцию и родственникам Чехова, прежде всего братьям, талантливым, но без царя в голове, разбросанным, неприкаянным, вечно нуждающимся.

Алексей Сергеевич хоть и богач, магнат, удачливый делец, да и возрастом старше (для Чехова — старик, как он его называет), но — свой, поскольку тоже пишет. Литераторствует, и с большим азартом. Бойко строчит рассказы, повести (одну из них переделает вскоре в роман «Конец века. Любовь»), комедии, великолепно знает литературу, по словам Чехова. Вынашивает планы создать свой театр — и создаст через несколько лет, пригласит известных актеров, будет ставить, и не без успеха, модные пьесы. Печатает в «Новом времени» «маленькие письма», короткие заметки на злободневные темы, умные, дельные, а главное — патриотичные, хотя патриотизм они с Чеховым исповедуют все-таки разный.

Иными словами, испытал на самом себе, какой это сладкий дурман (кокаин и морфий) и в то же время тяжкий крест — литература.

К тому же по натуре своей отзывчивый, щедрый и хлебосольный, Чехова любит и ценит, ни в чем ему не отказывает, охотно предлагает займы. Готов в любую минуту раскрыть портмоне, туго набитое ассигнациями, отсчитать и выложить на стол круглую сумму. Разумеется, без расписки (злые языки даже прозвали Антона Павловича суворинской содержанкой).

Словом, не просто приятель, а именно друг, надежный, проверенный, испытанный (если ехать за границу, то лишь с ним).

Поэтому можно не беспокоиться, что полученное от Антона Павловича письмо не так поймет, неверно воспримет, превратно истолкует и т. д.

И вот Чехов сообщает о себе между 10-м и 21 февраля из Москвы: «День-деньской я читаю и пишу, читаю и пишу... Чем больше читаю, тем сильнее убеждение, что в два месяца я не успею сделать и четверти того, что задумал, а ведь больше двух месяцев мне нельзя сидеть на Сахалине: подлецы-пароходы не ждут! Работа разнообразная, но нудная... Приходится быть и геологом, и метеорологом, и этнографом, а к этому я не привык, и мне скучно». Позвольте, но ведь он так рвется на Сахалин и так увлечен этой подготовительной работой, в чем сам не раз признается. Признается и в письмах, и в разговорах с домашними, прежде всего с сестрой. Почему же эта работа вдруг кажется ему нудной? И что же за скука его одолевает, откуда она?

Пишущего такой скукой не удивишь — в том числе и Суворина. Поэтому Чехов с ним не то чтобы откровенен, а не считает нужным ничего скрывать, утаивать или приводить какие-то мелочные, слишком подробные объяснения. Обоим не в новинку: при любом увлечении работой скука все равно не-

избежна, и вдохновение, как и Царство Небесное, нудится, выдавливается по капле.

Но у чеховской скуки есть еще один едва различимый оттенок: она не только от писательского ремесла, но и — от жизни. Скука эта не простая, а с секретом, затейливым вывертом — экзистенциальная, как сказали бы мы сейчас. От соприкосновения с изнанкой жизни (подобный образ мы у Чехова находим — подштанники жизни). Да, снаружи — изящное вышивание разноцветными нитями, прихотливый узор, поющих соловей и распустившаяся роза, а с изнанки — узелки, концы оборванных нитей, от одного вида которых становится как-то неприятно, нехорошо, не по себе, словно перед обмороком или припадком.

Такова, собственно, чеховская скука, преддорожное чувство.

Пожалуй, точнее всего определить ее словами экзистенциалиста Камю: «...легкое отвращение перед будущим, называемое тревогой». Отвращение — перед будущим. Почти тошнота, по Сартру.

Вот она, изнанка!

Да, не скучно, а как-то по-особому тревожно Чехову, хотя он, конечно, не позволяет себе признаться в этом. Позволит позже в письме Лидии Авиловой: «При одной мысли, что я должен уехать, у меня опускаются руки и нет охоты работать». Но сейчас — не время, поэтому — молчок. Пожаловаться, поплакать в жилетку не в его духе — тем более перед Сахалином, хотя чувство тревоги, соприкосновения с изнанкой незримо овеивает исписанные им листочки. Маячит в очертаниях букв, сквозит между строк: «Завтра весна, а через 10—15 дней прилетают жаворонки. Но увы! — наступающая весна кажется мне чужою, ибо я от нее уеду».

Признание поразительное по своей неподдельной искренности и тончайшему психологизму. Скоро прилетают жаворонки — казалось бы, как хорошо, только радуйся, бодрись и ликуй. Но весна кажется ему чужой настолько, что и не смотрел бы в окно, задернул наглухо занавески, отвернулся, ведь все равно уезжать. Значит, весна ему не принадлежит, не его это радость, а чья-то.

Ему же в последний момент, после долгих сборов и приготовления так хочется... остаться дома. Да, остаться, неподвижно сидеть в кресле, размешивать ложкой остывший чай, молчать и блаженствовать. Блаженствовать оттого, что пропал купленный билет до Ярославля, что он никуда не поехал, что, словно гоголевский жених, сбежал от невесты, выпрыгнув в окно.

Но Чехов себе этого никогда не позволит. Никогда не присвоит себе чужую весну, не увезет ее, словно жену от мужа (Лидию Авилову — от ее благоверного, хотя такая сплетня о нем гуляла), не похитит. Поэтому какое уж там блаженство! Нет, вместо этого — скука и жуткое одиночество. «Чехов говорил мне, что при отъезде из дома его охватывает жуткое чувство одиночества, время на вокзале перед отъездом тянется чересчур тоскливо, и он рад, когда кто-нибудь из добрых знакомых возле него», — свидетельствует в своих воспоминаниях тот же Лазарев-Грузинский.

Да, легкое отвращение перед будущим.

У Камю оно называется тревогой, а у Чехова по-разному, но чаще всего одиночеством, скукой, тоской, равнодушием, немотой души — мало ли названий у того, кто привык обозначать словом самые смутные, зыбкие, нераспознанные чувства. И обостряется это одиночество всегда перед дорогой — тем более такой

дальней, как на Сахалин. Вот уж действительно, выпали они ему, будто нагаданные цыганкой, — дальняя дорога и казенный дом.

Казенный дом или такой же казенный, тюремный, каторжный, кандалный остров Сахалин, где он тоже чужой и его не ждут.

Глава четвертая

ПРИГЛАСИТЬ ФОТОГРАФА

С^уья же это затея? Кто увлекся, даже загорелся этой сумасбродной, всех переполошившей идеей? И кто упорными трудами, бессонными ночами, бескорыстными жертвами, самоотречением заслужил право на эту невинную блажь — пригласить в дом фотографа? И не соседа-любителя, на чьих снимках вместо фигур — мутные пятна, а опытного, матерого зубра?

И кто сам отправился в дорогое ателье, где выставленный за стеклом витрины, услужливо изогнувшийся манекен, держа на отлете руки магниевую (будто бы) вспышку, другой рукой победоносно снимает крышечку с выдвинутого гармошкой объектива? Отправился, чтобы обо всем договориться, обстоятельно обсудить, задать необходимые вопросы (их целый перечень), получить удовлетворительные ответы. Строго нахмуриться вначале для придания себе солидности и внушительного вида (мол, нас не проведешь, не на тех напали) и любезно, обворожительно улыбнуться в конце. Что называется, одарить улыбкой.

Иными словами, сделать заказ.

— Желаете сфотографироваться?

— Да, но только не в студии, а дома. Вместе с близкими. Можно?

— Почему же нет! Пожалуйста. Исполним в наилучшем виде. Ваш адрес, сударыня?

— Кудринская Садовая, дом Корнеева.

— К которому часу прикажете?

— Ну, пожалуй, сразу после полудня, когда все в сборе.

— Будем вовремя. Не сомневайтесь.

— Мерси.

Думается, что это затея Ма-Па — кого же еще! Во всяком случае, без ее участия тут явно не обошлось. Даже если первоначально идея вызвать фотографа и сняться на память осенила Лику Мизинову и та возвестила об этом, блестя красивыми серыми глазами, Мария Павловна ухватилась за нее и немедленно присвоила себе. Присвоила как молодая хозяйка дома, распорядительница и устроительница, имеющая неоспоримое право.

И извольте с этим считаться. Считаться и не возражать. Вот Лика и не возражала, тем более что сама *сделать заказ* вряд ли сумела...

К тому же сестра с братом оба, чего греха таить, имели такую слабость — фотографироваться, и Чехов рассказывает в одном из писем 1887 года, как они вместе ходили сниматься: «...я для того, чтобы продавать свои карточки почитателям моего таланта, а она для раздачи женихам». Это, конечно же, снова лукавое озорство, милая шутка: о женихах Мария Павловна помышляет меньше всего — уж ее-то не упрекнешь, к ней не придерешься. Всем кавалерам, ухажерам, настойчивым просителям руки наотрез отказывает. И не потому, что ей не угодишь, что

такая уж разборчивая и привередливая она невеста: причины тут совершенно иные, и за отказом угадывается жертва...

Да, пожертвовав личным счастьем, Мария Павловна целиком посвятила себя тихому, скромному и подвижническому служению — всей своей большой семье, родителям и братьям, и особенно — брату Антону, дипломированному врачу (окончил университет по медицинскому факультету) и подающему надежды писателю. Писателю, чьи успехи, слава, признание немного кружат ей голову; она счастлива ими и преисполнена гордости за него. Для нее это призвание — быть рядом, помогать, вникать во все заботы, охранять и оберегать (хотя бы от незваных гостей, назойливых посетителей).

И уж если раздает свои карточки, то не женихам, а подругам — таким, как та же Лика. Но раздает как бы не от себя лично, не от сознания своей значимости, не в ознаменование собственных заслуг, а по особому праву сестры Чехова — такой у нее почетный титул, придворное звание, как насмешничает брат. И это — хоть и шутовское — звание она тоже с гордостью, особым достоинством носит.

И вот родной, любимый, обожаемый, знаменитый брат уезжает — впервые так далеко и надолго. Так далеко, что дух замирает — на край света, к диким алеутам (или кто там обитает на Сахалине?). Поэтому непременно нужно сфотографироваться всем вместе — а как же иначе! Это даже ни с кем не обсуждается.

Непременно!

Всем близким, родителям Павлу Егоровичу и Евгении Яковлевне, друзьям и домочадцам, но чтобы он, Антоша, единственный и ненаглядный, непременно был в центре. Что называется, сиял как солнце, а все прочие — вокруг него.

И она, его родная сестра, по праву главной фрейлины двора — тут же рядом, склонившись над ним, прижавшись щекой, на которой еще не высохла горячая (горючая?) слеза, или положив голову ему на плечо.

Тогда пусть он колесит по далекой Сибири, несется на лихой, бесшабашной тройке по почтовому тракту, плывет на пароходе, глядя, как пенится под лопастями колеса вода, расстилается сизый дым над рекой, и вслушиваясь в протяжный гудок. Пусть иногда забывает написать ей с дороги, она сумеет мужественно, по-чеховски перенести разлуку.

Сумеет потому, что перед ней на столе будет стоять его пресветлый лик, запечатленный образ, вставленная в овальную рамку фотография.

Так в назначенное время на Садовую пожаловал фотограф. Учтивый, галантный, с животиком, расчесанными на прямой пробор, слегка завитыми волосами, подкрученными усиками, во вздернутом полосатом пиджачке, и брюки — чуть выше щиколоток. Что-то в нем от ухоженного, сытого, откормленного кота.

И голос, приятно мурлычущий:

— Где будем сниматься?

Мария Павловна пригласила в дом, провела, показала, откинула занавески, чтобы больше было света. Но все-таки решили фотографироваться во дворе рядом с домом, на пленэре, как сказал бы кто-нибудь из знакомых художников, Левитан или брат Николай, бедный Коленька, если бы он был жив...

Мурлычущий что-то себе под нос фотограф с видом маэстро установил во дворе свою треногу, оперся о нее локтем, картинно откинулся:

— Зовите всех, сударыня!

И по лестнице корнеевского дома застучали каблуки, по комнатам зазвенел голосок Ма-Па:

— Все фотографироваться! Все спускайтесь во двор! Скорее! Мы ждем!

В ответ из-за дверей слышалось:

— Да мы же не одеты!

— Да мы не причесаны!

— Надо было предупредить! К тому же мы сегодня не в лице.

Но все притихли, когда Мария Павловна внятно, внушительно произнесла:

— Возражения не принимаются.

Притихли потому, что поняли: их не просят, а им приказывают, даже повелевают, и не подчиниться повелению нельзя.

Глава пятая

НЕ УСПЕЛИ

Сотихоньку, неспешно — с ленцой да зевотой, шутками и прибаутками, но все-таки собрались. Снизосли. Соизволили. Словно каждому надо непременно себя показать, дать почувствовать, что знает себе цену. Словно не их осчастливили возможностью сняться с Антоном, а они всех осчастливили и облагодетельствовали.

— А вот и мы. Где прикажете занять позицию?

На весеннем воздухе так зябко, неуютно, пробирает легкий морозец. И они слегка дрожат от озноба, пританцовывают на месте, чтобы согреться, поти-

рают руки, поглядывают вокруг с неприязнью людей, попавших из тепла натопленного дома в холод.

— Сюда, сюда! Несите стулья, — распоряжается Ма-Па, нахмуренная, озабоченная и немного сердитая на всех, да и на себя тоже.

Сердитая так, для порядка, на всякий случай...

Вынесли из дома несколько стульев, и, зачем-то обмахнув их платками, женщины сели — матушка Евгения Яковлевна, сама Мария Павловна, Лика Мизинова и дочь хозяина дома Мария Корнеева. Антона тоже дружно убедили, заставили сесть, чтобы он — при своем высоком росте — не заслонял других. Рядом, справа от него, скрестив ноги, пристроился на низком сиденье братец Михаил Павлович. За спинами женщин встали Павел Егорович со шляпой в руке, чуть развернувшись — Иван Павлович и совсем уж боком — друг дома, незаменимый помощник во всех делах, всегда готовый угодить, уморить, заморочить, немного бестолковый, но добрый Александр Иваненко.

И получился снимок, ценность которого в том, что перед фотографом обычно застывают, цепенеют, даже деревенеют с вымученными выражениями лиц, а тут — не успели: наверное, он поторопился, слишком быстро нажал на спуск. Вернее, успела лишь Евгения Яковлевна, привыкшая фотографироваться с постным лицом, по-солдатски вытянувшись во фронт (как и *положено* на семейных снимках). Да и Павел Егорович сразу приготовился сниматься и занял позицию, как гренадер на смотре, а остальные... к счастью, что-то им помешало.

Иваненко даже шляпу держит в руке так неловко, словно только что снял ее с головы и толком не знает, куда пристроить, как от нее избавиться, чтобы не мешала, не портила кадр. И другие, похоже, еще только

ждут, что фотограф даст им знак: «Внимание, господа. Снимаю».

А он без всякого знака... щелк — и готово. Никто даже толком не понял, что уже все свершилось, все произошло. Поэтому снимок не то чтобы удался по композиции, освещению и прочим критериям высокого искусства — нет, он, может быть, и неудачен, но эта неудача придает ему особую биографическую ценность, важность и значимость. Чем пристальнее всматриваешься в него, тем больше поражаешься тому, как много говорит он обо всех, кого потом назвали окружением Чехова. Его близкие, друзья и соседи изображены на нем не приукрашенными, такими, как есть, каждый со своим характером, скрытыми мыслями, стремлениями, отношением друг к другу — тем, что называется еще не совсем привычным для тогдашних времен словом — психология.

Вот и воспользуемся этим: подобное внимательное всматривание (тоже своего рода биографический метод) подчас раскрывает больше, чем чтение воспоминаний, писем и документов.

Чехов на снимке — молодой, тридцатилетний, с чем-то «чрезвычайно русским, народным» (Куприн) в чертах или даже южнорусским, хохлацким, еще не ставший *образом русской интеллигентности*, без пенсне, усы и бородка едва пробиваются. Кажется, весь он дышит здоровьем, что называется, кровь с молоком, и в нем не угадывается никаких признаков чахотки, уже унесшей в могилу брата Николая. Во всем его облике, позе, в которой он сидит, свешивающихся с колен руках, словно у отдыхающего мастера, — сознание собственного достоинства, сосредоточенное спокойствие, волевая устремленность и осиянность, как хочется о нем сказать.

Она сразу чувствуется, эта его осиянность: он выглядит крупнее всех остальных, в лице больше света, да и пальто на нем светлое. Волосы зачесаны назад, лицо открытое, очень красивый разрез глаз. Пожалуй, здесь он ближе всего тому портрету, который набросал в своих воспоминаниях Немирович: «Его можно было назвать скорее красивым. Хороший рост, приятно вьющиеся, заброшенные назад каштановые волосы, небольшая бородка и усы».

Брат Михаил рядом с ним — характер совсем иной. Несомненный позер, судя по выбранному месту в первом ряду, поближе к фотографу, скрещенным, словно у индийского факира, ногам, пенсне на шнурке, котелке и кошке (или собачке?), которую он держит на руках. Держит и якобы гладит, а сам при этом смотрит в объектив: уж очень озабочен тем, каким он получится. И явно соперничает с братом Антоном, стремится превзойти, хотя бы чем-то выделиться, но готов тотчас и умалиться, *стусиваться* — по словцу Достоевского, на чьих персонажей он так похож.

Чувствуется, что и в смирении, даже самоуничижении он — гордец. Способен на сцену, если есть зрители. Может пригрозить скандалом, но перед настоящим скандалистом спрячется, затаится. Самолюбив, поскольку так же, как и братья Антон и Александр, пишет. Иначе и быть не может, ведь он — Чехов. Фамилию несет как звание. И отставать не должен. Но в писании своем не усидчив, нетерпелив: оно ему быстро наскучивает, и тянет его встать из-за стола, размяться, поломаться перед другими и перед самим собой (может, даже у зеркала), поболтать.

Болтлив, как торговка на рынке. За все хватается, оттесняет других, но до конца не доводит. С женщи-

нами впадает в преувеличенный тон, разыгрывает некую величавость, но украдкой способен и ущипнуть, и мяукнуть, козлиным тоненьким голоском запеть (все затыкают уши) или кукарекнуть, и часто стелется мелким бесом.

Умеет посочувствовать, но обожает, чтобы его самого жалели. Многие не принимают Михаила, «сладкого Мишу», Мишеньку всерьез, считают фигляром, шутом гороховым, но близкие знают, что лучше всего ни в чем его не упрекать, не винить, принимать таким, каков есть. Тогда и он делается проще, ведь человек-то по сути добрый и задатки в нем хорошие.

Брат Иван скромн, бережлив, уступчив, себя не выпячивает. Встал в заднем ряду, да и то как-то неловко, боком, не желая привлекать к себе внимание, занимать много места. Антона он искренне любит, чтит, благоговеет перед ним. И главное — старается вникнуть, чем он живет, о чем пишет, что его волнует, радуется, мучит, заставляет страдать. Но расспрашивать об этом, допытываться никогда не станет: для этого он слишком застенчив и деликатен. Если же брат сам расскажет, выслушает, не перебивая, не переводя разговор на себя, а затем будет долго вспоминать, обдумывать, пытаться понять.

Мария Павловна, конечно, рядом с Антоном, чуть справа от него, слегка улыбается, но видно, что устала, притомилась, забегалась. Черты лица немного крупны — красавицей ее не назовешь. Видно, что добра, участлива, способна сострадать, хотя характер и не легкий. В одежде все до мелочей продумано, подогнано, аккуратно. Похожа на провинциальную учительницу — учительницей всю жизнь и была.

Словом, такая мизансцена: справа от Антона — сестра, слева — мать. Все расчислено, даже геометрично. И тут же Лика, как незаконная комета. Она устремлена к Чехову, но меж ними — верный страж Мария Павловна. Никого не допустит, своего места рядом с братом не уступит даже подружке. И все же по другой мизансцене Чехова что-то связывает с Ликой. Он если и не устремлен, то склоняется к ней, чувствует ее присутствие, хотя и не смотрит на нее.

Красива ли она, Лика? Не на всех фотографиях это заметно, некоторым даже удивляешься: и это та самая Лика Мизинова? Но на этой, кажется, все же красива, даже несколько демонична (по-врубелевски), хотя больше приходится доверять словесным портретам: «Ее пепельные вьющиеся волосы, чудесные серые глаза под “соболиными” бровями, необычайная женственность и мягкость и неуловимое очарование в соединении с полным отсутствием лomanья и почти суровой простотой — делали ее обаятельной, но она как будто не понимала, как она красива, стыдилась и обижалась, если при ней об этом кто-нибудь из компании Кувшинниковой с бесцеремонностью художников заводил речь. Однако она не могла помешать тому, что на нее оборачивались на улице и засматривались в театре» (Щепкина-Куперник).

Словом, все же красива. Но главное — имя, и точно так же, как когда-то на нее оборачивались и засматривались, мы теперь, через сто лет, будто замороженные, повторяем, вслушиваясь в его чудесное звучание: Лика Мизинова... Лика Мизинова...

Лика!

Глава шестая

СУНДУЧОК

А теперь пусть сойдут с групповой фотографии сестра Чехова Мария Павловна, матушка Евгения Яковлевна, младший брат Михаил и займутся сборами отчаянного путешественника в дорогу.

Сборами ответственными — ничего не упустить, все предусмотреть — и от этого немного суетливыми и запыленными, ведь не в Петербург, не в Ярославль, не в Кострому собирают... Ах, если бы в Петербург, на Невский проспект или Васильевский остров — тогда бы и горя не было, мигом управились бы. А то ведь такой остров, что вот уж поистине горе, горе горькое. Потому и сборы туда долгие, что перед глазами плывет и из рук-то все валится.

Но все же пусть эти трое сойдут и займутся: времени осталось совсем немного, билет уже куплен, число на нем пробито.

Срок приближается с каждым днем, с каждым часом (срок... а первую букровку убери, и получится — рок).

При этом обязанности меж ними будут распределены так: женщины — таково уж их призвание — хозяйничают, мечутся, снуют по комнатам, заглядывают в кладовые, открывают дверцы шкафов и поднимают тяжелые крышки комодов. Забот у них множество, и крупных, и особенно мелких — только бы не сбиться со счета, поскольку для Антона мелочи всегда важны и значение им придается великое: вещицы, вещички порою разрастаются в размерах, заслоняя собою вещи.

Евгения Яковлевна и Мария Павловна лишь загибают пальцы на ладони. Им надлежит прикинуть, сколько понадобится рубашек, запонок, галстуков, ремней, носовых платков, какие взять перчатки, шарфы и теплые носки. Постирать в лохани, высушить, выгладить тяжелым железным утюгом, уложить все это так, чтобы легко было найти, — тоже их святая забота.

Уложить, а затем снова достать, пересчитать, вздохнуть и всплакнуть: на то они и женщины.

А вот по части магазинов, покупок, выбора необходимых дорожных принадлежностей (причиндалов, как сказала бы Евгения Яковлевна), причем выбора философски осмысленного, стратегического, с верным прицелом и дальним расчетом — тут на них положиться нельзя. Слишком нервны. Слишком впечатлительны. Подвержены безотчетным порывам.

Нет, тут нужен мужчина, испытанный, прирожденный добытчик, поэтому за все отвечает Михаил — с него и спрос. Тем более что уламывать его не пришлось: сам вызвался.

Вернее, скромно, ненавязчиво, с достоинством (во всяком случае, так это рисовалось ему самому) обозначил свою готовность.

Когда зашел разговор, кому бы поручить покупки, кого отправить по магазинам, он многозначительно опустил глаза, тронул туго завязанный галстук, поправил круглое пенсне на носу и тихонько кашлянул в острый, крепко сжатый кулачок. Сие означало: кому же, как не ему! Ведь не Ивану же, который на копейку купит, а на рубль с полтиной сэкономит — так что и копейка обратится в ноль. А вернее, в самый натуральный кукиш.

Эх, экономия, прижимистость Иванова — порою до смешного!

Нет, здесь нужен он, Михаил, стратег, голова, ума палата, да и душа широкая, с размахом — жаться, стесняться не будет. Иными словами, тут он фельд-маршал Кутузов.

Да что Кутузов — Наполеон!

Мать и сестра намеков его уловили, приняли к сведению, переглянулись. Пошептались с Антоном, отозвав его в дальний уголок (матушка в правое ухо шепчет, сестра — в левое), и тот спорить не стал, сразу согласился:

— Михаилу поручить? Ну, почему же нет! Конечно! Я согласен. Даже рад, польщен и признателен. — И отсчитав деньги, вручил ему: — Будь любезен, брат, купи мне там самое нужное. Постарайся. Я на тебя надеюсь. А то видишь, мне недосуг.

Недосуг, потому что с утра до вечера по библиотекам пропадает, горы книг, подшивки газет с полок уносит, читает, обхватив руками голову, ногтем отчеркивает, выписки делает. И даже барышень знакомых за конспекты засадил — пусть помогут... Поэтому где ему с покупками возиться — одна надежда на брата...

И Михаил себя не уронил, перед матушкой, сестрой и братом показал, на совесть постарался. Во всяком случае, так ему самому показалось, а это важнее всего: на других он смотреть не привык...

Прежде всего Михаил Павлович составил список достойных магазинов. Составив, придирчиво просмотрел, кое-что похерил, вычеркнул, а кое-что жирной чертой обвел, и прежде всего самый дорогой и шикарный магазин, куда не каждый отважится заглянуть (иной-то, глядишь, и оробеет, но Чеховы не из таких), — «Мюр и Мерилиз», что рядом с Большим театром. Сам приоделся как подобает, начистил ботинки, взял тросточку и — покупатель серьезный,

основательный, не шантрапа какая-нибудь — отправился туда на извозчике.

Главным в его наполеоновской стратегии был упор на то, чтобы купленные им вещи оказались достойны знаменитого писателя, чтобы по вещам угадывался владелец, человек состоятельный и респектабельный, чтобы они внушали к нему уважение, а кое-кому и зависть. Именно по таким соображениям, с таким расчетом Михаил приглядел дорожный чемодан. Перед ним стояли самые разные, но — чемоданы, именно чемоданы, большие и удобные, но не оригинальные, ничем особым не привлекающие внимания.

И вдруг — запрятанный среди них — на глаза попался не чемодан, а... сундучок. Да этакий затейливый, бокастый, фасонистый — игрун, да и только. Разве что не взбрыкивает, не похрапывает и гривой не трясет. Михаил Павлович — цоп — за него-то и схватился. Приказчика подозвал, поманил и с небрежностью, за которой угадывались гордость и самодовольство, поведал:

— Покупаю.

Ждал, что удивит, вызовет к себе подобострастное почтение этакой безоглядой решимостью. Но тот принял это как должное, с холодком заученной любезности, чем немного, признаться, и разочаровал:

— Извольте-с оплатить в кассу.

— А цена?

— Известная. — Приказчик пожал плечами, поскольку цену на наклейке трудно было не разглядеть.

Вот она-то, циферками обозначенная, его и куснула, ужалила как оса, но назад не повернешь, не отступишься: пришлось выкладывать деньги. И хотя

в душе при этом слегка заныло, Михаил Павлович не позволил духу уныния овладеть им. Он по-прежнему бодрился и повторял, похваливал: «Ах, хорош сундучок!»

Под стать сундучку — и сапоги. Приказчик обувного отдела раскрыл перед ним десяток коробок, пока он не воскликнул: «Эти!» И тоже был доволен своим выбором, стратегическим расчетом: сапоги такие, что по Красной площади не стыдно пройти. А уж там и все прочее как приложение, добавка к главным покупкам.

Принес домой чемодан-сундучок и сапоги.

— Вот извольте взглянуть и оценить.

Развернул и разложил покупки.

— Это что ж такое? — Евгения Яковлевна прежде всего заинтересовалась сундучком как некоей диковинкой.

— А это, матушка, дорожный чемодан.

— Что-то форма у него необычная.

— Скажете тоже, матушка. Самая модная форма.

— Ну, уж и модная!

— Говорю же вам!

Женщины хоть и не сразу (что-то их смущало), но покупку боязливо одобрили: слишком уж Михаил Павлович напирал на то, что модные вещи не каждому дано по достоинству оценить. Слово было за Антоном, но тот, вызванный из своей комнаты, лишь мельком взглянул, кивнул, что-то пробормотал и снова исчез за дверью.

В это время зазвонил дверной колокольчик: наверное, посетитель. Несмотря на сборы, надо его принять, как велит долг и требуют приличия.

Глава седьмая

ДОРОЖНЫЕ НЕУДОБСТВА

У так, в доме на Садовой-Кудринской царит столь непривычный для Чеховых беспорядок, что случайный посетитель (им оказался курьер из редакции, посланный к Антону с запиской) вправе предположить лишь одно: либо кто-то женится, либо кто-то надолго уезжает. Хотя какая уж тут свадьба: к свадьбе-то столы накрывают, а тут чемодан собирают — вернее, не чемодан, а дорожный сундучок. И не столько собирают, сколько изнывают от усердия и заботы, стараются до изнеможения. Потому и вещи разбросаны, по углам раскиданы, и ящики столов выдвинуты, и дверцы буфета нараспашку. Домочадцы, обитатели дома сталкиваются на лестнице, что-то роняют, нагибаются, поднимают, пытаются вспомнить, куда и зачем несли.

Ах, господи, не туда, в голове все совсем перемешалось — и тотчас бегом назад. Словом, суматоха и неразбериха, какие бывают лишь перед самым отъездом. Что называется, накануне...

И только Павел Егорович, старший из Чеховых, участия в сборах не принимает. Сидит он в своей комнате на втором этаже, спина прямая, очки на носу, и читает Псалтырь. Еще не хватало, чтобы он так же суетился. Осуетиться для него, как в пост оскоромиться — он такого не допустит. Нет, обнимет на прощанье сына, перекрестит, пожелает доброго пути и скорого возвращения. И довольно, довольно, хватит, а то не хватало еще!..

Зато Евгении Яковлевне и Марии Павловне Псалтырь читать некогда, и суета им не враг: гораздо хуже была бы праздность, но ей они не поддаются, не позволяют себе отдохнуть ни минуты. Поэтому сундучок постепенно наполняется, и Евгения Яковлевна, стараясь заручиться вниманием сына, сидящего за своим письменным столом, показывает:

— Антоша, здесь у тебя платки... здесь носки... здесь рубашки... Взгляни-ка.

На столе у Антона разложены книги, документы, разные бумаги. Среди книг — описания путешествий, работы по уголовному праву, тома «Морского сборника», исследования по геологии, метеорологии, этнографии Сахалина.

— Да, да, я вижу.

— Нет, ты уж посмотри, пожалуйста, а то в нужный момент не найдешь.

— Ну, давай посмотрю, раз тебе так хочется.

В угоду матери он встает из-за стола, подходит, смотрит, хотя думает по-прежнему о своем. Евгения Яковлевна это замечает.

— Ты где в мыслях-то витаешь?

— Далеко, мама.

— А ты будь поближе, ведь как надолго прощаемся. В такую даль тебя собираем!..

— Стараюсь...

Мария Павловна пытается оторвать сундучок от пола:

— Боже, какая тяжесть. А это что за бутылка? Зачем ты ее везешь?

— Чтобы выпить на берегу океана. Для того мне и подарена. Я обещал.

— Ну, раз обещал...

— Да, и непременно за ваше здоровье.

— Ах, какое тут здоровье с этими сборами!

Но наконец собрали. Уф, гора с плеч...

И как, наверное, собой гордились, когда захлопнули крышку, повернули ключик в замке и вручили дорогому Антоше: с таким сундучком хоть в Америку! И как сиял при этом Михаил Павлович (распирало от гордости), чувствуя, что его заслуги наконец оценили!

Но оказалось, заранее всего не предусмотреть, и какая там Америка... На первых же станциях их Антон Павлович обнаружил, что самого-то нужного как раз и не хватает, а то, что есть, никуда не годится. Купленные Михаилом сапоги оказались хоть и по моде сшитые, но узкие: ужасно ему жали, словно колодки стискивали ноги, натирали их до мозолей, и Чехов в них просто измучился. Не захватил мешочек для чая (важная мелочь) и не догадался заранее купить бертолетовой соли. И сундучок изрядно намял ему бока тупыми углами, пока он не догадался поменять его на «какую-то чепуху, которая рабски распластывается на дне повозки».

А как помогли бы подушки на тряской, каменистой дороге, если бы догадался захватить с собой. Но вот сам не догадался, и никто не посоветовал, не подсказал...

Дорожное состояние для Чехова так и осталось состоянием человека, оторванного от дома, иначе он не написал бы: «И вот я сижу в избе, стоящей в озере на самом берегу Иртыша, чувствую во всем теле промозглую сырость, а на душе одиночество, слушаю, как стучит по гробам мой Иртыш, как ревет ветер, и спрашиваю себя: где я? зачем я здесь?»

Шум разлившегося Иртыша он сравнивал со странным звуком, похожим на то, как будто под водой стучат по гробам,— невеселое сравнение! В этом смысле он не боготворимый им Пржеваль-

ский, не Максимов и не Якушкин, для которых дорога была именно домом, он — Чехов, страдавший от дорожных неудобств, от того, что случайный попутчик счел себя вправе ему тыкать, а старуха в сибирской избе, подавая ему чайную ложку, «вытерла ее о задницу».

Неспроста же совпали слова Камю с преддорожным чувством Антона Павловича. Если применить к Чехову все тот же экзистенциальный анализ, он открыл бы в его душе некий бытийственный холодок, некую застылость самого вещества, наполняющего нервные клетки.

Скука — одно из самых часто употребляемых слов в его лексиконе. По-разному варьируемое, оно постоянно встречается в письмах. Недаром о молодом Чехове пишет Немирович: «Во всяком случае, у него было много свободного времени, которое он проводил как-то впустую, скучал».

Чехов Немировичу чужд, хотя они и приятели, даже почти друзья, заняты общим делом — Московским Художественным театром.

У Чехова было много свободного времени, и он скучал: за этой простодушной фразой — огромное различие между Чеховым и Немировичем. Тот — деятельный, энергичный — скуки не знает, как не знает и чего-то другого — тайны чеховской жизни и чеховской прозы. Уж кто разгадал бы эту тайну, так это скучающий Пушкин.

Да, было, было это в Чехове — скука, хотя он тоже по-своему деятелен, и преданные ему чеховеды так любят подчеркивать: широкий, гостеприимный, «хлебосольный, как магнат». Строил школы, боролся с холерой, собирал средства для голодающих, всем помогал. И рост у него был почти два метра, и грудной баритон напоминал подчас раскатистый бас, и с

яхты он нырял в открытом море — этакий силач-богатырь, не Чехов, а Гиляровский в запорожских шапоровах и вышитой украинской сорочке.

Но вот что пишет этот силач с палубы парохода: «Мне не весело и не скучно, а так какой-то студень на душе. Я рад сидеть неподвижно и молчать. Сегодня, например, я едва ли сказал пять слов. Впрочем, вру: разговаривал с попом на палубе». Без этого холодка, без этого странного оцепенения, овладевавшего им в дороге, не было бы загадки Сахалина, и мы не спрашивали бы себя, почему он поехал.

Но ведь загадка-то есть, и мы спрашиваем: почему?! Почему?!

Глава восьмая

СО-ПРИЧАСТИЕ

Ответом на этот вопрос принято считать «Сахалин», книгу о каторжном острове, ссыльных и поселенцах. Она занимает свое законное, прочное место во всех собраниях сочинений Чехова и очень редко издается отдельно, как будто без поддержки соседних томов этот томик словно бы и не чеховский — слишком мало в нем привычного Чехова. Он и раньше, в университетские годы замышлял нечто подобное: к примеру, подбивал брата Александра написать в соавторстве с ним «Историю полового авторитета», солидный ученый труд, смахивающий на диссертацию. Да, мы с удивлением узнаем об этом факте — узнаем как о чем-то парадоксальном и курь-

езном одновременно (почти курьезном, поскольку намерения автора слишком серьезны).

«И это Чехов?!» — готовы мы воскликнуть, хотя тотчас ловим себя на том, что и «Сахалин» способен вызвать у нас подобное восклицание: и это он, Антон Павлович?! К примеру, в письмах, посланных из Сибири и с Сахалина, Чехова гораздо больше, чем в этой книге. Но письма — это его испытанный жанр, «Сахалин» в жанровом смысле книга очень неопределенная. Это не публицистика, поскольку Чехов никогда не был публицистом, хотя и жалел об этом. Это и не ученый труд, поскольку излагаемые Чеховым сведения о Сахалине взяты из других источников.

Тогда что же это?

Нечто чеховское, но — без Чехова. Это звучит как дурной каламбур, но неким образом выражает самую суть. Иногда кажется, вот-вот оно и появится, это чеховское, — уже мелькнуло, забрезжило в рассказе Егора или описании прогулок с доктором, но, помелькав, поискрившись, тотчас же и погасло. Какую-то иную задачу он здесь перед собой ставит — не литературную, а жизненную.

Это очень важно понять: «Сахалин» для Чехова не книга, а поступок. Вот почему форма этого сочинения так открыта, прозрачна — ее как будто и нет вовсе. Чехов не прячется за приемы, за беллетристические ходы — он весь перед нами. Не писатель, а человек. Человек, который мог бы состояться и помимо писательства, не как московский литератор, а выбрать для себя совершенно иные пути. Ну, скажем, как Пржевальский, Миклухо-Маклай или кто-то еще из плеяды великих русских путешественников и землепроходцев. После Сахалина такой выбор становится уже невозможным, но до Сахалина и во время пребывания на каторжном острове Чехов, по суще-

ству, еще выбирает. Выбирает свой путь, выбирает судьбу. И тут-то снова возникает все тот же вопрос: почему же он написал эту не свою книгу?

Привлечь внимание к положению на каторжном острове? Таким ответом можно было бы удовлетвориться, если бы Чехов сочинил о Сахалине повесть или рассказ — такой же, как «Гусев» или «В ссылке», и в этом рассказе были бы рассуждения об участи ссыльных, унижительных условиях их существования, о загубленных жизнях. Этого было бы вполне достаточно, но почему — не свою? Почему единственный раз за все время предпочел не написать, а прожить этот каторжный Сахалин, хотя именно писание защищало его от жизни, а не жизнь от писания?

Здесь мы касаемся, быть может, самого потаенного в Чехове, бытийственного, экзистенциального. Касаемся его религии — не в узком, а в широком значении слова. «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора» — это уже не привычный для нас образ Чехова, не пенсне на шнурочке, не чеховская улыбка, а самая предельная жизнь, оваянная тем, что за чертой, за горизонтом, за последним рубежом. И понять это можно не столько через чеховедение, через литературоведческие размышления о Чехове, сколько через прямое со-переживание, со-причастие чеховской жизни.

С таким сопереживанием я столкнулся однажды, более двадцати лет назад, и произошло это в том самом доме на Садовой-Кудринской, откуда Чехов уезжал на Сахалин. Произошло вопреки всем ожиданиям, поскольку назначенное на тот день обсуждение новой повести о Чехове, опубликованной журналом «Звезда», сразу как-то не заладилось: зал был наполовину пуст, люди сидели разрозненными групп-

ками, а то и поодиночке — верный признак того, что попали сюда случайно. Послушают, похлопают и разойдутся. Да еще столпятся на лестнице, обгоняя друг друга, чтобы поскорее взять пальто в раздевалке. Такие мысли невольно возникали и у меня, и у автора повести, но что поделаешь — выступать-то надо, и, поскольку мне предстояло открывать и вести этот вечер, я первым поднялся на сцену, стараясь не останавливаться взглядом на пустых креслах и не замечать скучающего выражения лиц.

Но стоило произнести несколько слов, и в воздухе словно обозначилось некое движение, а затем я почувствовал, как соткалось из невидимых нитей нечто в равной степени важное и для меня, и для зала — Чехов. Как только он появился, сразу заполнилась пустота, рассеялся холодок скуки, исчезла разрозненность между группками и зал объединился в едином порыве любви к своему писателю.

Люди заговорили, и особенно мне запомнилось выступление девушки — кажется, ее звали Женей. Да, именно Женей, потому что имя невыразимо соответствовало чертам ее необычного облика — длинным худым рукам, простому гребешку в волосах, бледному лицу с наполненными светом глазами, и даже черному свитеру, в который она была одета. Черный цвет — монашеский, вот и в Жене было нечто монашеское, нестеровское, от «Христовой невесты». Не то чтобы она внешне напоминала героиню этой картины, но изнутри была озарена той же духовностью, напряженной до экзальтации, до порывистой устремленности к ближнему, готовности всем делать добро.

Признаться, поклонники Чехова мне всегда представлялись иными: слишком разные это стихии, Чехов и Нестеров, монашеская Русь и уездная Рос-

сия. И вот неожиданное сближение... Когда дошла очередь до Жени, она встала, прижала к груди тетрадку с торопливыми записями, начала говорить. Говорить и о повести, и о Чехове, и о себе, и о чем-то, связывающем ее с Чеховым. И меня поразило, что эта связь способна быть такой насущной, такой безусловной, такой последней связью, которая если и обрывается, то лишь вместе с жизнью.

Оказывается, Чехова можно не только читать, размышлять над его героями, находить поддержку в тех или иных вопросах, но можно спастись Чеховым. Можно даже вопреки мнению Толстого, считавшего, что молодежь заблуждается, принимая Чехова за учителя, видя в нем таинственные пророчества, что он учит лишь тому, как соблазнять женщин (на примере доктора Астрова из «Дяди Вани»).

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова вспоминает: «Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать; а он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос: как надо жить? Учить он не умел и не любил... Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет, а они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком...»

Хоть молча и — обновленным: в этом секрет воздействия чеховской личности.

Об этом же пишет Константин Коровин: «Не смотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе, и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души».

Даниил Андреев, автор «Розы мира», называет Чехова праведником, близкий Чехову, друживший с ним Игнатий Потапенко в своих воспоминаниях настаивает на том, что Чехов праведником не был, да и не мог быть, поскольку он — писатель. Два противоположных мнения, а что меж ними? А меж ними — Сахалин, куда Чехов отправился именно потому, что не был праведником и в то же время был им.

Как это так — был и не был? Вот и попробуем в этом разобраться.

Глава девятая

ВРЕМЯ И МЕСТО

Мне надо снова побывать в доме, откуда Чехов уезжал на Сахалин и куда приходили его первые письма с каторжного острова. Двадцать лет назад, когда я там был, то еще не знал, не мог предположить, что буду писать об этом книгу. Буду пытаться разгадать, постигнуть, осмыслить, что такое для Чехова — Сахалин. Поэтому ничего и не накапливал впрок, про запас, не вслушивался, не всматривался в окружающую обстановку с тем особым — жадным, пытливым и пристальным — вниманием, свойственным только пишущему. (Толстой однажды так всматривался в лицо умершего, что это сочли кощунственным и попросили Льва Николаевича уйти с похорон.)

Вот и надо побывать снова — непременно надо, — может быть, это приблизит меня к ответу на те

вопросы, которые без конца возникают, мучают, тревожат, неотступно преследуют, требуют разрешения. Приблизит со-прикосновение с местом, где некогда жил Чехов. Пребывание среди его вещей. Ведь это тот самый чеховский дом, упоминавшийся им в письмах. Тот самый, где он встретил *чужую*, по его словам, преддорожную весну 1890 года. Подлинный, даже не перестраивался и ничего не утратил из своего архитектурного убранства — за некоторыми исключениями, такими как опоясывавший его когда-то красивый белый карниз между первым и вторым этажом и балюстрада — перильца из фигурных столбиков — на крыше. И вещи в большинстве своем подлинны, самим Антоном Павловичем купленные, ему подаренные, для него привычные, вобравшие тепло его рук.

Значит, что-то сохранили, в них запечатлелось, и они — скажут.

Скажут то, чего сам Чехов, наверное, никогда не открыл бы никому из своих современников. Не открыл, поскольку совпадение во времени больше отдаляет, чем сближает. Всегда кажется, что тебя лучше понял бы тот, кто жил раньше или будет жить позже. Современники же слишком заняты собой, погружены в себя: им говоришь, а они не слышат. Не слышат потому, что сами хотят сказать. Этак их и распирает от этого желания непременно высказаться. И даже если наконец смилостивятся, снизойдут, осчастливят: «Ну, теперь, дорогой мой, давайте-ка о вас», все равно свернут на проторенную дорожку и, не дослушав до конца, воспользовавшись первым удобным предлогом, снова будут так же без умолку талдычить о себе.

О, это их несносное желание — о себе, о своих успехах по службе, о своем здоровье или болячках, о сне и пищеварении — куда от всего этого деться!

«Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!»

«Осетрина с душком» — это и есть современник собственной персоной.

Дмитрий Дмитрич Гуров «не удержался и сказал», но другие в таких положениях чаще все же удерживаются, о самом заветном и сокровенном предпочитают помалкивать. От современников вольно или невольно утаивают то, что берегут для потомков — для тех, кто когда-нибудь придет на их место. Поэтому именно совпадение в пространстве по-настоящему сближает. История — это не только ушедшее время, но и сохранившееся место.

И я стараюсь постигнуть историю через местопребывание, нахождение в том же пространстве.

Прежде всего пространстве Москвы, столь хорошо знакомой Чехову, обжитой, освоенной, облюбованной, куда он стремился всю жизнь. Стремился отовсюду, и особенно из Ялты. Разумеется, она уцелела не вся, эта Москва, — островками, уголками, закуточками, но все-таки уцелела, нам еще досталась, как некое не до конца промотанное наследство, и мы рады хотя бы этим крохам. Можно с Большого Каменного моста увидеть Кремль (такая же картинная панорама, как вид Москвы с Воробьевых гор!). Можно из Александровского сада — той его части,

что примыкает к Арсенальной башне (Кремлевская стена кажется там особенно высокой), посмотреть на Пашков дом, может быть, самый красивый в Москве. Можно по Большой Никитской дойти до университета с его двориками, колоннами и арками. Можно (все еще можно — даже не верится!), наконец, спуститься от Сретенки по Рождественскому бульвару к Трубной площади, и это будет Москва, чеховская, им исхоженная, высмотренная, заветная, заповедная.

Сергей Яковлевич Елпатьевский, врач и писатель, долгое время живший в Ялте, вспоминает: «Запас сведений о Москве у нас обоих обширен, — мы оба учились в Московском университете. Чехов вдохновляется и говорит:

— А помните?..

И начинает вспоминать знаменитые пирожки “с лучком, перцем, с собачьим сердцем”, которые готовились в грязном переулке на Моховой, кажется специально для нас, студентов-медиков, работавших в анатомическом театре и химической лаборатории; вспоминает любезные Патриаршие пруды и милостивые Бронные и Козицкие переулки, и морщины мелкими складками собираются вокруг глаз на похуевшем лице, и смеется он веселым, громким, радостным смехом, каким редко смеялся покойный Антон Павлович».

Бронные и Козицкие — вот же они, рядом. Исхожены вдоль и поперек: Бронные по одну сторону от Тверской, Козицкие — по другую. И если время все больше отдаляет, уносит, то они приближают, возвращают нам Чехова...

Глава десятая

ПОДВАЛ НА ГРАЧЕВКЕ

Весной 1877 года в Москву на каникулы приехал семнадцатилетний таганрогский гимназист. «Волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сопочком» — так описывает Бунин девятнадцатилетнего Чехова, но и к семнадцатилетнему это описание подходит — так же, как и последующие описания, уже 1984 года: настоящий монгол, губастый башкирский малый. И вот этот башкирец, хмуро озиравший Москву, поначалу, надо полагать, не понял ничего, только еще больше нахмурился и недовольно выпятил губу (слишком шумно и суетно), а затем разом понял все, оторопел и остолбенел, ошеломленный тем, что такое настоящая-то белокаменная. Разве сравнишь с Таганрогом! Даже и не пытайся — какие там сравнения! Москва в тысячу раз краше, одних церквей и колоколен сколько, и дома высокие, и нарядная публика повсюду, шляпки с вуалью, бобровые воротники и извозчики, и городовые, и магазины французские — все мелькает, кружится каруселью — засмотришься и шапку с головы уронишь!..

В Таганроге же только две улицы освещены фонарями, на прочих же — темень, да и грязь непролазная, поскольку улицы немощеные, раскисают от дождей или зарастают чертополохом, бурьяном и репейником. А какие безграмотные, убогие вывески! Есть даже трактир «Расия»!..

Гимназиста, конечно, водили по Москве, снисходительно объясняли, показывали. И был Кремль,

увиденный с Большого Каменного моста, и Манеж, и университет, и храм Христа Спасителя, и Красная площадь. Все это потрясло до сладкого изнеможения, тихого блаженства, заставившего потом написать: «Если только кончу гимназию, то прилечу в Москву на крыльях, она мне очень понравилась». Вот оно как — крылья выросли от восхищения Москвой!

И — прилетел.

Московская жизнь Чехова или, как сам он говорил, «московское житие» началось с подвала на Грачевке, неподалеку от Садовой и Самотеки, в комнатах, где «пахло сыростью и через окна под толчком виднелись одни только пятки прохожих». Такие подвалы сохранялись в Москве еще лет сто (я сам их прекрасно помню по Докучаеву переулку, где жили бабушка и дедушка, к которым меня в детстве возили). И когда были построены сталинские высотные дома со скоростными лифтами, а затем небоскребы Калининского проспекта, многие по-прежнему смотрели на мир из подвальных окон и видели лишь мелькающие пятки прохожих.

В этом что-то угадывается, распознается: некий знак или символ. Да, если остров Сахалин превратился в архипелаг ГУЛАГ, то и подвал стал теньвым символом оптимистичной и жизнеутверждающей эпохи социализма, символом скрываемой ото всех — опечатанной и засекреченной — смерти, прообразом преисподней. В него сходили, как в могилу (помню, меня, ребенка, навязчиво преследовало подобное ощущение).

И хотя Чехову подобные сравнения подвала с преисподней, может быть, и чужды, он — предвестник наступающей эпохи, ее невольный выразитель (к этой мысли я еще вернусь).

После Грачевки Чеховы без конца переезжали, меняя квартиры, но все между Трубной улицей и Сретенкой, в тихих горбатых переулках. словно они не отпускали, эти переулки, притягивали к себе магнитом, старались чем-то запомниться, запечатлеться, отозваться в раннем творчестве Чехова: «Небольшая площадь близ Рождественского монастыря, которую называют Трубной, или просто Трубой; по воскресеньям на ней бывает торг. Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. Если светит солнце и на небе нет облаков, то пение и запах сена чувствуются сильнее, и это воспоминание о весне возбуждает мысль и уносит ее далеко-далеко» («В Москве на Трубной площади»).

Запомнились, запечатлелись, отозвались, но при этом всюду было тесно, шумно, неудобно и бестолково. Вечно сталкивались, натыкались друг на друга, досадовали, чертыхались, фыркали и даже бранились. Но старшим в доме, главным авторитетом для семьи (Павел Егорович, служивший приказчиком, жил тогда у своего хозяина, галантерейщика Гаврилова) постепенно становился Антон. Михаил Чехов об этом пишет: «Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились неизвестные мне дотолерезкие, отрывочные замечания: “Это неправда”, “Нужно быть справедливым”, “Не надо лгать” и так далее».

В октябре 1885 года Чеховы перебрались на Большую Якиманку — переулки между Трубной и Сретенкой сменились Замоскворечьем с его садами, дремотными улочками, мощенными серым булыжником, запахом конского навоза, лопухами у заборов и колокольным звоном. Остановились сначала в доме

Лебедева, но отпугнули сырость и сквозняки. Тогда обосновались в большом особняке с колоннами — доме Клименкова, но там другая напасть: «Надо спать. Над моей головой идет пляс. Играет оркестр. Свадьба. В бельэтаже живет кухмистер, отдающий помещение под свадьбы и поминки. В обед поминки, ночью свадьба... смерть и зачатие... Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой... Должно быть, шафер. Оркестр гремит...» — так писал Чехов о своем жилище.

К тому же и до центра далеко, а ведь там редакции, театры и магазины — извозчик такую заломит цену, что не наездишься. Надо снова высматривать на окнах белые бумажные ленточки — знаки того, что помещение свободно от постоя и сдается внаем. Кому же браться за дело, как не Марии Павловне и Михаилу Павловичу — на них вся надежда! В начале августа 1886 года они пораньше приехали с дачи, чтобы подыскать квартиру для семьи. И вот на Садовой вблизи Кудринской площади увидели желанные знаки: сдавался дом доктора Корнеева, двухэтажный, добротный, похожий на комод, и сдают не так уж дорого — можно поднатуриться и вытянуть. У Антона хорошие заработки, в редакциях платят исправно, да и книги его не залеживаются на прилавках — словом, хватает на всю семью, поэтому и дом они осилят. Особенно если поторговаться с хозяином (разумеется, втайне от Антона) и тот уважит, постарается оказать расположение, хоть немного, да сбавит.

Так они между собой обсуждали, рассчитывали, прикидывали и готовы были поверить: ну хоть немного, самую малость...

Нет, не сбавил, запросил 650 рублей в год, да еще потребовал за два месяца вперед, о чем Чехов писал

Лейкину: «В Москву я переберусь... когда соберу толику денег, необходимую для перевозки. Квартиру нашел я себе (650 р. в год) в Кудрине на Садовой, д. Корнеева... Квартира, если верить сестре, хороша... Собака-домовладелец, у которого я буду жить, требует плату за 2 месяца вперед, а у меня сейчас ни шиша».

Вот и пришлось занять у Лейкина 70 рублей, чтобы внести задаток, после чего Чеховы переехали в дом Корнеева, разместились и зажили...

Глава одиннадцатая

КРАСНЫЙ МАНЧЕСТЕР С БАХРОМОЙ, ПРИБИТЫЙ МЕДНЫМИ ГВОЗДИКАМИ

Впрочем, переезд и первоначальное обустройство в комнатах, как нижних так и верхних, заняли неделю, всякие же последующие мелочи, доделки, наведение глянца и того больше — месяца два-три, а то и вовсе полгода. Но Чеховы старались, трудились без понукания, с усердием, дружно, приученные все делать своими руками, ни на кого не надеяться, ни от кого не зависеть: не господ, чтобы слуг нанимать. Да и, по правде сказать, нанимать-то не на что — хоть того же маляра. Поистратились изрядно за последнее время, с деньгами стало туговато, каждая копейка на счету — не то что рубль, а в долг не напросишься...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
Глава первая. Русский писатель как тайна и парадокс	7
Глава вторая. По камушкам, по досточкам	14
Глава третья. Чужая весна	18
Глава четвертая. Пригласить фотографа	23
Глава пятая. Не успели	27
Глава шестая. Сундучок	33
Глава седьмая. Дорожные неудобства	38
Глава восьмая. Со-причастие	42
Глава девятая. Время и место	47
Глава десятая. Подвал на Грачевке	51
Глава одиннадцатая. Красный Манчестер с бахромой, пробитый медными гвоздиками	55
Глава двенадцатая. Прелюдия Шопена	59
Глава тринадцатая. Пора!	64
Глава четырнадцатая. Устранение времени: Чехов за письменным столом	69
Глава пятнадцатая. Настоящая вакханалия	73
Глава шестнадцатая. Григорович и японки	77
Глава семнадцатая. Соколинец	81
Глава восемнадцатая. «Батум»	86
Глава девятнадцатая. Как будто	89
Глава двадцатая. Провожающие	92
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	97
Глава первая. Долг перед медициной	97
Глава вторая. Особый тип подвижника	101

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава третья. Дифтеритные пленки	105
Глава четвертая. Чехов и Суворин: спор о романе Буржу	109
Глава пятая. Боткин и Захарьин	114
Глава шестая. Невольная исповедь	117
Глава седьмая. Оправдываться делом	122
Глава восьмая. На клиросе	125
Глава девятая. Рукав с голубой подкладкой	129
Глава десятая. Ик!	132
Глава одиннадцатая. Каторжники	136
Глава двенадцатая. Коза на горшке	139
Глава тринадцатая. Выбор	143
Глава четырнадцатая. За старшего	146
Глава пятнадцатая. Называние предмета	150
Глава шестнадцатая. Свечение в пасмурных облаках	154
Глава семнадцатая. В наивном обольщении	158
Глава восемнадцатая. Отдельный человек	161
Глава девятнадцатая. Море было большое	166
Глава двадцатая. Лавка-кормилица и дом-разоритель	171
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	177
Глава первая. Вячеслав Шугаев и чеховское общество	177
Глава вторая. Исполнилось сто лет	181
Глава третья. Портрет попутчика: Петр Паламарчук	184
Глава четвертая. Пятеро за столом	188
Глава пятая. Воскресение на Дебре	192
Глава шестая. Город-сад	197
Глава седьмая. Боромли и Мерчики	201
Глава восьмая. Американская гостиница	205
Глава девятая. Было	210
Глава десятая. Три вехи	213
Глава одиннадцатая. Два портрета	216
Глава двенадцатая. Унылая гармошка	221
Глава тринадцатая. Чеховский берег	224

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава четырнадцатая. Шоколат</i>	229
<i>Глава пятнадцатая. Русская хандра</i>	234
<i>Глава шестнадцатая. Хожение</i>	238
<i>Глава семнадцатая. Таинственная Козулька</i>	243
<i>Глава восемнадцатая. Байкал</i>	249
<i>Глава девятнадцатая. Парии</i>	255
<i>Глава двадцатая. Возвращение к маяку</i>	261
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	268



Литературно-художественное издание

БЕЖИН ЛЕОНИД ЕВГЕНЬЕВИЧ

АНТОН ЧЕХОВ:

Хождение на каторжный остров

Редактор *Н. В. Комарова*

Дизайн: *А. Б. Архутик*

Корректоры *О. В. Круподер, В. А. Нэй*

Подписано с готовых диапозитивов 17.09.2013 г.

Формат 84×108/32. Гарнитура «NewJournalC».

Печ. л. 8,5. Тираж 1000 экз.

ООО «Издательство «Этерна»

115477, г. Москва, Кантемировская ул., д. 59а

Тел./факс 755-81-23

E-mail: info@eterna-izdat.ru

www.eterna-izdat.ru